

*Петр Немировский*

## О МАМЕ

*Повесть*

### Глава 1

Я вышел из подземки на Юнион-сквер, как раз закончился дождь, асфальт был мокрым, и в лужах отражались... Нет, не буду врать, я не видел, что отражалось в тех лужах, в них могло быть и небо в плывущих рваных тучах, и еще не зажженные фонари, и лотки торговцев на зеленом рынке. Быть может, там мелькнул и какой-нибудь фермер-бородач из Пенсильвании, продававший мед в круглых банках, или румяная крепкая фермерша с севера штата, выставившая на лотках яблоки, лук, картошку, свежий хлеб, или продавцы рыбы, сока, кленового сиропа, домашнего яблочного вина — да кто и что угодно могло попасть в «объективы» тех луж на Юнион-сквер, когда в пятницу утром я вышел из подземки.

Место, где я работаю, находится неподалеку от станции метро, на 11-й стрит. Там, в амбулаторной клинике, меня ждут пациенты. Злые, уставшие, измученные — страдающие различными психическими нарушениями. Каждому из них что-то от меня нужно.

А еще в пяти минутах ходьбы от станции метро, но в противоположной от клиники стороне — знаменитый книжный

магазин «Барнс энд Нобл». Там меня тоже ждут в кафе на третьем этаже, где я обычно заказываю кофе или чай с круассанами.

В конце рабочей недели, в пятницу вечером, я часто туда захожу. Этот магазин со множеством стеллажей и ползущими, уходящими под потолок ступенями эскалаторов создает у меня ощущение какого-то губельного лабиринта, куда легко войти, но откуда трудно, вернее, практически невозможно выйти: один ряд книжных полок ведет к другому, античность сменяется Средневековьем, а затем Просвещением, вера — безбожием и, достигнув пика современности, всё начинает двигаться в обратном направлении, снова по эскалаторам, с этажа на этаж.

Не так ли и мы — устремляясь в будущее, неизбежно возвращаемся в прошлое? Не умираем ли мы в тот самый миг, когда рождаемся? Не прощаемся ли мы навеки с кем-то, когда говорим этому человеку «здравствуй»?

Я не знаю, мама, как ты кричала, когда рожала меня. Не знаю и не помню этого.

Говорят, младенец испытывает настоящий шок, покидая материнскую утробу и появляясь на свет Божий. Говорят, что там, в материнской утробе, мягко, тепло. Там блаженство, то блаженство, которое на протяжении столетий искали многие философы и богословы, сооружая сложные интеллектуальные конструкции, как леса вокруг храма. Но в храм мало кто из них попал.

А может, храм блаженства — это материнская утроба, где таинственным образом зарождается новая жизнь, где существуют небо, звезды, даже Бог и ангелы — всё, что есть во Вселенной?

До меня, мама, в твоей утробе лежала моя старшая сестра Лия, а потом был зачат и мой старший брат, который родился мертвым, потому что тебя во время беременности нерадивые врачи заразили гепатитом и тем самым убили ребенка, которому ты должна была подарить жизнь.

Может, этим мертворожденным младенцем был я? Нет, мне кажется, им был некто другой, мой брат. Будучи еще ребенком, узнав об этом из родительских разговоров, я испытал странное чувство вины и радости, потому что если бы родился он, то вряд ли родители захотели бы еще одного, третьего ребенка.

Но мне трудно представить, мама, что ты бы отказалась от этой мысли и не захотела бы родить меня.

Я хорошо помню, как родился мой сын, как на акушерском столе в госпитале «Квинс» кричала моя жена. Было два часа ночи, акушеру позвонили домой, сказали, что приехала его пациентка из Бруклина, у нее схватки. Акушер распорядился сделать ей обезболивающий укол в позвоночник и сказал, что скоро приедет.

Пока он дома мылся, брился, одевался, потом заправлял бензином машину, медсестра-негритянка поняла, что ждать нечего, нужно принимать роды. Она подключила мониторы и давала указания моей жене: «Прижми подбородок к груди! Вот так. Теперь толкай! Толкай его так, как будто ты сидишь на унитазе и у тебя запор! Сильнее! Сильнее!»

Наконец приехал врач.

Я держал руку жены, гладил ее лоб в холодной испарине и смотрел на мониторы, на которых в виде линий отображались схватки и продвижение младенца к выходу.

Боже, как она кричала, моя жена, рожая нашего сына! Укол обезболивающего, вероятно, не подействовал или оказался недостаточным. Во всяком случае, я не мог себе представить, что человек может ТАК кричать. Я видел пациентов в отделении «Скорой помощи» с поломанными руками и ногами, с пулями в животе, я видел наркоманов в ломках. Я видел сбитых машинами, слышал их стоны и крики. Но все это — ничто по сравнению с криками роженицы. После этого я уже не сомневался, что человек произошел от животного. Так кричать может только животное. Я считал, что у человека нет душевного резерва, чтобы вместить столько боли, недостаточный объем легких и слишком слабые голосовые связки, чтобы породить такой крик.

Потом в руке акушера появился скальпель. Врач сказал, что другого выхода нет, нужно резать. После нескольких точных резких движений, брызнула кровь — на рукава его врачебного халата. Мелькнувший перед моими глазами скальпель в его руке был уже не серебристым, а красным, и халат, и лицо врача в маске, и стоявшая возле него медсестра — все было забрызгано кровью.

Как она выла, моя жена.

Два раза в жизни я слышал такое. В первый раз так кричала моя жена, рожая сына.

Во второй раз точно так же, как раненая лань, выла моя сестра Лия после того, как мрачный еврей в ермолке, сотрудник похоронного дома, сказал, что твой гроб, мама, уже в ритуальном зале и мы можем туда войти, чтобы попрощаться с тобой.

Я вошел первым, а после меня — Лия. Недолго постояв, я покинул этот зал и удалился в какой-то узенький коридорчик, чтобы

быть подальше от того страшного места. Крепко закрыл уши ладонями. Но это было напрасно, — я мог даже уйти из этого здания, сесть в машину, уехать на вокзал, а оттуда хоть в Калифорнию или на Аляску. Я мог бы залить свои уши воском — все равно слышал бы вопли Лии над твоим гробом.

Лия хотела, чтобы... Нет, она уже ничего не хотела. В такие минуты человеку уже нечего хотеть, он уже никого не винит и никого ни о чем не просит.

А ты смотрела на нас, мама, и ничем не могла помочь. Впервые за столько лет ты не могла нам помочь, даже пальцем не пошевелила...

\*\*\*

Сынок лежал на животе моей жены, подняв головку со слипшимися мокрыми волосками. Он тоже кричал. Это был крик возмущения и радости. Это был требовательный крик. Новый человек родился — покинул рай, навеки расстался с блаженством материнского тепла. Как ему там было покойно и хорошо в утробе Вселенной! Но его изгнали из рая. И теперь он требовал для себя места на Земле, ему было нужно пространство — чтобы двигаться, воздух — чтобы дышать, тепло — согреваться.

Медсестра ловким движением завернула младенца в пеленку и отдала его мне — отнести к весам. Я взял сына на руки, и под моими ногами вдруг покачнулся пол...

Через три дня мы привезли его из госпиталя домой. Елки у нашего дома были припорошены декабрьским снежком. Дул сильный ветер, тот злой зимний ветер, который неприятен в Нью-Йорке даже

детям, а взрослым и подавно. Мы вышли из машины, я нес сына, закутанного в тонкую белую пеленку. Проснувшись после долгой езды в теплом салоне машины, он раскрыл маленький ротик и снова стал обиженно и требовательно кричать.

Ты, мама, ждала нас дома. Когда мы вошли с сыном на руках, ты хлопнула в ладоши и подпрыгнула от радости. Ты, мама, сама была ребенком. Радость была для тебя случайной гостьей, и ты ее никогда не ждала. Но когда эта гостья приходила, ты реагировала самым простым способом, как маленькие дети: хлопают в ладоши и радостно подпрыгивают.

Точно так же ты обрадовалась моему сыну, своему внуку. Взяла его на руки и сказала, что мы могли его заморозить в тонкой пеленке. «Разве можно так?! Ему же холодно! Теперь у него болит животик».

Ты работала воспитательницей в яслях и каким-то особым чутьем угадывала, что беспокоит детей — кому из них холодно, кому жарко, у кого болит животик. Сказать об этом они еще не могли.

\*\*\*

Ты знаешь, когда моему сыну исполнился год, однажды ночью мне приснился сон: твоя мама, моя бабушка, возникла откуда-то в халате и кухонном переднике; подошла к моему мальчику, который только что встал с горшка. Бабушка взяла этот полный горшок и понесла его в туалет выливать.

Тогда бабушка приснилась мне впервые, это было через тридцать лет после ее смерти. Она пришла к нам, чтобы вынести за моим сыном горшок. Мудрая бабушка. Она там, в Вечности, наверное, немного

утомилась от возвышенных блаженных состояний, от лицемерия небесных светил и Господа, окруженного серафимами и херувимами. Ей захотелось на минуту испытать иное блаженство, и, покинув райские обители, она пришла к нам, чтобы вынести за своим правнуком горшок...

А ты, мама, не приходишь ко мне даже во сне. Первое время после твоего ухода каждый вечер я, вернувшись с работы, спешил лечь на кровать и закрыть глаза.

Нет, это не было депрессией. Я просто ждал, что ты мне приснишься. Я ведь уже знал, что мы не встретимся никогда на этой Земле, и в чудеса я не верю. Но я верю в сны. Потому что сны — это двери. Потому-то и я спешил уснуть в надежде, что ты придешь во сне. Я не верил, что ты не сможешь ко мне прийти даже через эту дверь.

Но время шло, одни ночные кошмары сменялись другими: госпитальные кровати с моторами, капельницы, таблетки, кислородные маски — всё, чем в последние годы была наполнена твоя жизнь, перекочевало в мои сны.

Но тебя я так и не увидел.

## Глава 2

На моем банковском счету хранились пятьдесят пять тысяч долларов. Эти деньги родители собрали за много лет, экономя на всем. Вернее, экономил папа, а ты, мама, не понимала, что такое экономия. Ты страдала близорукостью, но не носила очков и не видела, что происходит у тебя под носом. Точно так же и с деньгами — ты плохо

разбиралась в ценах, не умела торговаться. Деньгами в семье заведовал папа, откладывая, что мог, из более чем скромных ваших зарплат, а потом пенсий. (Папа тридцать лет работал водителем автобуса в ешиве, развозил детишек по домам в Бруклине.)

Отдавая мне сэкономленные деньги, родители ничего не оставляли у себя на банковском счете, поэтому могли пользоваться некоторыми государственными льготами для бедняков. До поры это всех нас устраивало.

Я даже выплачивал по этим деньгам папе проценты. Я никогда не спрашивал папу, что он собирается делать с этими деньгами, на что их откладывает.

Мы с Лией изредка напоминали ему, что, мол, в могилу он все равно ничего с собой не унесет и неплохо бы заняться сейчас «похоронным вопросом», так как цены на кладбище постоянно растут. Но папа сердито отмахивался: «Не горит!» Он любил круглые цифры и поставил перед собой сверхзадачу — довести сумму своих сбережений до ста тысяч.

В конце каждого месяца мы с папой садились за стол в родительской квартире и «подводили баланс»: он отдавал мне сэкономленные деньги, подсчитывал свой доход по процентам, припоминал, что я должен ему еще пару десятков долларов, если он мне что-то покупал. Закончив подсчеты — сначала на калькуляторе, затем — повторные — на бумаге, — папа передавал мне листок, на котором была записана новая сумма — сколько его и маминых денег теперь у меня на счету.

Цифра росла, добавлялись нули. Пятьсот долларов превратились в пять тысяч, пять тысяч — в пятьдесят пять.

Папа был счастлив.

Но к тому времени я уже серьезно занялся литературой. Все чаще, выйдя из подземки на Юнион-сквер, я направлялся не в клинику к своим пациентам, а в магазин «Барнс энд Нобл», где меня ждали книги на стеллажах и еще — писатели, нарисованные на стенах тамошнего кафе.

Я все чаще задавал себе вопрос: где я сейчас должен быть и где мое место — в кабинете психиатрической клиники или в этом кафе?

Публика в кафе была пестрая. Иногда за столик садился чернокожий проповедник в приличном костюме, или буддийский монах в пурпурной накидке и сандалиях на босу ногу, или какой-то бродяга тяжело опускался на стул, поставив возле себя большую старую сумку. Они о чем-то разговаривали — с посетителями кафе или сами с собой. Они приносили в кафе взятые с полок в магазине книги и журналы: проверенную веками классику и последние бестселлеры, туристические справочники, журналы о спорте, кулинарии, политике, книги по инженерии, дизайну, этике, эстетике или откровения очередной порнозвезды. Они перелистывали эти книги и журналы, при этом говорили, не умолкая. И я, сидя за одним из столиков, внимательно прислушивался к их бормотанию, к их разговорам и потом пытался воспроизвести их слова на бумаге, придав им некоторую стройность и осмысленность.

Это были мои первые литературные эксперименты.

Прошло еще некоторое время, и я бросил работу в клинике, дни напролет проводил в кафе книжного магазина с ручкой и бумагой. Франц Кафка и Исаак Башевис Зингер смотрели на меня со стен, за каким бы столиком я ни сидел. Иногда меня мучили угрызения совести

или сомнения. Тогда я садился в дальний угол кафе и, виновато опустив глаза, пил маленькими глотками горячий чай. Но Зингер и Кафка всегда выискивали меня и в самых дальних углах, и я понимал, что от их строгих, любопытных взглядов никуда не скроюсь.

А на противоположной стене курил сигару задумчивый Марк Твен и, подперев кулаком подбородок, глазел на меня бородатый Уитмен. Ну и Набоков, отодвинув от переносицы очки, разглядывал меня, как бабочку или гусеницу.

Разве можно было отказаться от такой компании?

Однако дружба с этими господами, отрешенными от земных дел и забот, как потом оказалось, стоит немалых денег. Увы! Жене я тоже скоро стал не шибко нужен — безработный, безденежный, безнадежный, как и подобает настоящему писателю.

Мы с женой стали часто ссориться. Я видел, что она не понимает и не хочет понять моих писательских амбиций. Закончилось тем, что я оставил семью и переехал на другую квартиру.

Иногда виделся с сыном, а все свободное время посвятил роману.

### Глава 3

Сестра Лия спрашивала о родительских деньгах. Сначала изредка, как бы невзначай. Но рак у мамы оказался неоперабельным, деменция быстро прогрессировала, отчего нам пришлось поместить ее в дом престарелых, — словом, все события указывали на то, что нам пора заняться практической стороной смерти. Поэтому Лия стала

требовать, чтобы я отдал родительские деньги. Не все, а половину — ровно столько, сколько понадобится на похороны.

Лия смутно догадывалась, что деньги я потратил. Но она все равно не могла в это до конца поверить. В представлении Лии я был человеком странным, непредсказуемым, непонятым никому, в том числе и самому себе. Но она меня любила, совершенно меня не понимая. Это и есть самая крепкая любовь — когда любят не за что-то, а вопреки всему.

Лия, привычная и готовая ко всяческим моим причудам и вывертам, все же верила, что у меня есть четкие границы дозволенного и что я эти границы никогда не переступлю. Это для нее было аксиомой.

Каждому человеку нужны аксиомы, иначе можно потеряться во множестве полуправд, которые сопровождают нас в жизни на каждом шагу.

Лия не могла отказаться от многих аксиом. Одной из них было ее твердое убеждение, что если очень захотеть и постараться, то можно добиться всего. Ее жизнь до недавнего времени подтверждала этот тезис: Лия сделала карьеру, став старшим дизайнером в ателье на Фэшн-стрит. Лия добилась того, что они с мужем купили фешенебельный дом с бассейном. Добилась, чтобы ее дочка поступила и окончила престижный университет и хорошо вышла замуж. Список достижений у Лии был довольно длинный, и она предполагала, что он и дальше будет только увеличиваться.

Но мама своими двумя страшными болезнями неожиданно подвела под этим списком жирную черту. Лия не могла принять тот

факт, что не все в ее силах, что есть вещи, с которыми она ничего не может поделать. Мама скоро умрет.

Лия хотела заняться организацией и устройством будущих похорон, сделать для мамы то небольшое, что еще могла. Она хотела выбрать, если можно так сказать, престижный похоронный дом, место на престижном кладбище, ей это было важно. Она думала, в каком платье маму будут хоронить.

Платье! Конечно же, в том зеленовато-голубом платье, отстроченном золотистой ниткой, мама надевала его в самых торжественных случаях. И обязательно надо будет накрасить маме губы ярко-красной помадой. Это ведь любимый мамин цвет. Он так идет к ее светлой коже и черным волосам, которые до последних дней сохраняли пышность и поседели только за несколько недель до смерти.

Лия серьезно поговорила с папой и тот наконец согласился, что раз действительно пришло время заняться будущими похоронами, то пусть заодно место на кладбище купят и ему, рядом с мамой, и оплатят авансом все ритуальные услуги на двоих. Все это обойдется приблизительно в двадцать пять-тридцать тысяч долларов.

Но денег у меня не было. Я пришел к папе и, виновато опустив голову, признался ему во всем:

— Понимаешь, иногда мне кажется, что роман уже закончен, что он удался. Я тогда связываюсь с очередным редактором, плачу ему, он редактирует, но вскоре мне становится очевидным, что там полно недостатков, и я снова начинаю переделывать. Кто бы мог предположить, что услуги этих проклятых редакторов стоят так дорого?! Не забывай — я ведь нигде не работаю...

Папа сначала странно улыбнулся, будто бы я пошутил. Потом вперил в меня тяжелый сумрачный взгляд. Он пытался и не мог осмыслить эту новость:

— Ты бездельник и транжира! — наконец выкрикнул он. — Ты — позор нашей семьи.

— Когда-нибудь мой роман издадут, и вы все будете мной гордиться, — возразил я.

— Перестань врать! Лучше бы ты вернулся в семью, к жене и ребенку! Уходи, не хочу тебя видеть.

Папа сильно разнервничался. Я опасался, что у него сейчас поднимется давление и придется вызывать «скорую».

— Ну и ладно! — огрызнулся я и, выходя, ударил ногой дверь.

Я попытался взять ссуду в банке, но так как я нигде не работал, ссуду мне не дали.

Узнав обо всем, Лия накинулась на меня с громами и молниями:

— Ты — последняя свинья! У тебя нет ни капли совести!

Она выбрала два места на дорогом кладбище и ритуальные услуги для обоих родителей, заплатив за всё своими деньгами.

После этого мы с ней перестали разговаривать. Мы ничего не хотели знать друг о друге.

Я всегда знал, что Лия — упрямая и бездуховная женщина, которую ни в чем нельзя переубедить. Я знал, что для нее важно только то, что о ней говорят окружающие: ее коллеги в ателье, ее подруги, живущие в таких же роскошных, как и у нее, домах, ее соседи.

Но в данном случае, назвав меня «последней свиньей», Лия была права.

\*\*\*

Наша семья разваливалась.

Семья! Для мамы это было высшим духовным законом, священным словом, священным понятием. Мама знала, что наша жизнь на земле держится только благодаря семье. Очень простая формула человеческого существования. Род. Семья. Все остальное — от лукавого.

Мама не вмешивалась в личную жизнь своих детей. Она была мудрой, хотя часто называла себя «глупой». Мама не сказала «нет», она лишь неодобрительно скривила лицо, когда познакомилась с женихом Лии, и точно так же, некоторое время спустя, — с моей будущей женой. Поморщилась с каким-то сожалением. Маме не понравились ни ее будущий зять, ни невестка. Но мы сделали свой выбор. И мама этот выбор приняла.

Был период, когда Лия влюбилась и хотела развестись со своим мужем. Пришла к родителям, чтобы сообщить им о своем решении, и, по-видимому, надеялась получить родительское благословение.

Мама ее выслушала и, приложив указательный палец к губам, долго молчала. Потом тяжело поднялась со стула (у нее уже тогда были больные ноги, периодически распухающие от хронического полиартрита, и вообще она ходила тяжело, к старости была склонна к полноте и из-за этого страдала одышкой), — так вот, мама поднялась, открыла дверь и тихо сказала, чтобы Лия уходила — сейчас же, чтобы ехала к себе домой, в половине двенадцатого вечера, потому что дома ее ждут муж и дочка. Никаких объяснений мама слушать не хотела.

Лия некоторое время сидела, раскачиваясь на стуле влево-вправо. Затем позвонила своему мужу, чтобы он за ней приехал.

Лия не смогла переступить через мамино «нет».

...К тому времени, когда я оставил свою семью, мама уже страдала деменцией, не понимала многого в том, что происходит, носила на запястье специальный браслет на случай, если заблудится. Но порой у нее неожиданно появлялись проблески ясного сознания и желание совершать поступки, соответствовавшие ее натуре.

Однажды я пришел к родителям, и мама неожиданно спросила с порога:

— Это правда, что ты оставил семью?

— Да, — ответил я, пытаюсь угадать, откуда она это узнала. Ведь мы старались ее не расстраивать плохими новостями.

Ничего не сказав, мама решительно надела плащ, туфли и вышла из квартиры.

— Ты куда? — спросил я, следуя за ней к лифту.

— К тебе домой. Хочу попросить прощения у твоей жены и твоего сына за тебя.

С трудом я упрямил ее этого не делать, завел ее домой, пообещав вернуться в семью.

Но слово свое не сдержал.

\*\*\*

Мама была ограниченной женщиной. Не разбиралась ни в политике, ни в экономике, ни в искусстве. Она не читала ни книг, ни газет. Она читала только сказки — нам с Лией, когда мы были детьми,

а потом своим внукам. Читала, кстати сказать, с душой, искренне переживая за зверушек и гномов.

Мама плохо считала, писала с ошибками. Один год даже училась в специальном классе для детей с интеллектуальными проблемами.

В кафе магазина «Барнс энд Нобл» я часто беседовал о маме с Башевисом Зингером. Он мне признался, что прототипом героини в своем знаменитом романе «Шоша» (за этот роман Зингер получил Нобелевскую премию) была моя мама. Он говорил, что такие ограниченные, глупые женщины — самое ценное, что есть в еврейском народе:

«До тех пор, пока такие женщины рождаются и пока они с нами, до тех пор еврейский народ будет существовать. Такие ограниченные еврейские женщины мудрее всей премудрости Торы и всей великой немецкой философии. Бог сначала сотворил аидише мамэ, на это у него ушло шесть трудных дней. Сотворить все остальное оказалось сущей чепухой, на это Всевышнему понадобилась лишь пара мгновений...»

\*\*\*

А еще мама была землей, черной и плодородной землей, богатым черноземом. Мама рождалась каждый год в пшенице, в яблоках, в кукурузе, в козьем и коровьем молоке, в цветах, в розах, сирени, во всем, что привозили фермеры из Пенсильвании, Нью-Джерси и Апстейта на “зеленый” базар Юнион-сквер.

\*\*\*

По выходным я приходил в дом престарелых, где мама провела свои последние два года. Усадив ее в кресло-каталку, я укутывал ее в теплый плед, надевал ей шерстяную шапочку и вывозил на крыльцо. Мы сидели с ней, согреваясь последним теплом осеннего солнца, слабые лучи которого проникали под парусиновый полосатый навес.

Я держал мамину морщинистую руку. Мама уже была в том состоянии, когда не знала, какое сейчас время года, утро или вечер. Она не узнавала людей рядом, не помнила имен, меня называла именем папы. Но мне это было безразлично. Она знала, что это я сижу рядом с ней, и мне для этого не требовались никакие внешние доказательства.

Изредка она поднимала голову, обратив лицо к солнышку, и тихо спрашивала дряхлеющим дрожащим голосом:

— Как дела?

— Все о'кей, мама, — отвечал я.

Этот вопрос она задавала мне десятки лет. «Как дела?» Ей не был важен ответ, ей было достаточно услышать мой голос, чтобы сразу все понять.

Когда я учился на психолога в колледже в Пенсильвании, покинув родительский дом, и жил в общежитии, мама звонила мне каждый день:

— Как дела?

— Все о'кей, мама.

У меня действительно тогда все было о'кей: я редко посещал занятия, зато часто ходил в бары, играл в боулинг, глотал со

студентами экстази на дискотеках. «Все о'кей, мама, у меня все в порядке».

Но если я не отвечал на ее звонок, мама звонила в отдел менеджмента общежития, могла позвонить и в секретариат колледжа. Поэтому маму знали менеджеры общежития, секретарши в колледже и даже замдекана. У мамы была надежная агентурная сеть.

Мама мне звонила, когда я бывал в отъезде — в других штатах или за границей. Один раз, будучи в Париже, я зашел в знаменитый Пантеон, где в крипте в каменных саркофагах покоится прах великих французских мужей. Я ходил по сумрачным тихим коридорам в крипте, и вдруг — звонок. Мама из Бруклина!

«Как дела, сынок?»

И тут из саркофагов встали Дюма, Гюго и Золя, и Жолио Кюри, и еще какие-то знаменитые французские политики и генералы — все подошли ко мне, каждый брал у меня мобильник и отвечал маме: «Мадам Шапиро, бонжур. Это Виктор Гюго. У вашего сына все о'кей, он в полном порядке». И передавал телефон Эмилю Золя, чтобы тот подтвердил, что у меня все о'кей...

Но у мамы началась деменция. И вот в один день она мне не позвонила, не спросила: «Как дела?» Уже близился вечер, уже смеркалось, в небе появились первые звезды, а мама мне не звонила...

Мне всегда казалось, что в мире может все измениться: может начаться война, или обвалиться биржа, или циклон снесет дома и затопит ливнями целые районы, — но, невзирая ни на что, мама найдет способ мне позвонить и спросить: «Как дела?»

Но она не позвонила в тот день. Она забыла мой номер телефона. Она просто забыла, что забыла мне позвонить.

В тот день я повзрослел на десять лет. И с каждым новым днем ее болезни мы всей семьей — я, Лия и папа — выросли на десять лет.

## Глава 4

Наконец я поставил финальную точку в своем романе, решил, что дальнейшие переделки его только портят. Стал обращаться к литературным агентам, которые обещали мне найти издателя.

Но удача мне не улыбалась — я получал от издательств только отказы!

Неужели мой роман так плох?! Эта мысль причиняла мне нестерпимую боль.

Банки мне по-прежнему отказывали в ссудах, приходили штрафы за несвоевременную оплату, на кредитных карточках постоянно росли долги. Я был вынужден подрабатывать таксистом.

Незаметно для себя самого я стал пить. Днем я шел в дом престарелых к маме, а вечером, если не работал в такси, — в дешевый паб неподалеку от дома. Играл там с местными ханыгами в бильярд и пил виски.

Я проклинал себя за то, что когда-то захотел стать писателем и издать книгу. Больше не заходил в кафе магазина «Барнс энд Нобл», где когда-то сидел за столиком в компании писателей.

...Однажды я бродил по городу и случайно очутился на Юнион-сквер. Был поздний вечер. Моросил дождь.

Я проходил мимо здания клиники, где когда-то работал психотерапевтом. И вдруг решил, что мне нужно прекратить это

безумие. «Забуду о своем романе, который все равно никогда не издадут. Я должен заниматься тем, что знаю и умею, на что у меня ушли годы учебы и практики. Начну зарабатывать деньги в клинике, рассчитаюсь с долгами. Вернусь в семью. Вернусь к себе. Иначе я или окончательно сопьюсь, или покончу с собой».

\*\*\*

Я стал работать психотерапевтом на старом месте. Вернулся к жене и сыну. Как ни странно, наши отношения с женой стали гораздо лучше, чем были прежде, — испытания пошли на пользу нам обоим.

## Глава 5

В то воскресенье мы с женой и сыном пошли в дом престарелых к маме. Сын пытался кормить ее с ложечки йогуртом. Мама съела три ложки и произнесла:

— Довольно.

Мне показалось, что эти три ложечки йогурта она съела ради него, так же как он когда-то ел пару ложек «для бабушки».

Сын поставил на стол стаканчик с йогуртом, затем неожиданно наклонился и поцеловал бабушку в щеку, и она улыбнулась. Мама знала, что это ее внук.

— Почему-то вспомнила, как мама танцевала у нас на свадьбе, — сказала жена, когда мы втроем вышли из дома престарелых. — Я тогда

увидела по-настоящему счастливого человека, — она отвернулась и смахнула слезинку с глаз.

Она тоже видела, что мама уходит...

\*\*\*

Я не мог выбраться в дом престарелых в течение всей следующей недели: было слишком много дел на работе. А вечером туда ехать незачем: пациентов в доме престарелых обычно укладывают в кровати рано — в пять-шесть часов.

Но рабочая неделя почти прошла, уже была пятница. И я был счастлив, что мама дожила до субботы и я смогу увидеть ее завтра.

Завтра покормлю ее йогуртом, закутаю в теплый плед, надену ей шапочку и выведу в кресле-каталке на крыльцо погреться на солнышке. И все будет как обычно — уговаривал я себя.

...В пятницу у меня была вечерняя смена. Я собирался на работу. Надевая штаны, никак не мог попасть ногой в штанину и стал прыгать на одной ноге. И так «допрыгал» до книжной полки, где возле книг стояли разные фотографии.

На одной из фотографий в рамочке — мама в своем любимом зелено-голубом платье, с пышными, зачесанными набок волосами, смотрит, прищурив глаза, и улыбается.

У меня почему-то все задрожало внутри.

И... вдруг лучи света полились на меня. Лучи вечного солнца материнской любви лились на мое лицо; благотворное тепло согревало мне кожу, входило в мышцы, в суставы, пронизывало все мое естество...

От такой силы любви мне стало страшно...

Так мама прощалась со мной.

\*\*\*

Нужно было поехать к ней, в дом престарелых, но я поехал на работу.

...Я вел психотерапевтическую сессию, мой мобильник постоянно звонил. Звонила Лия. Я знал, почему она звонит, но я не отвечал.

Мне уже было некуда спешить. Полчаса уже ничего не изменят. И час уже ничего не изменит. И сутки ничего не изменят. И месяцы. И годы.

Время меняло свои привычные границы, Время впускало меня в свои новые владения.

Я закончил сессию, попрощался с пациентами и пожелал им хороших выходных. И когда ушел последний из них, позвонил Лии.

Что потом? Потом я спокойно вышел из здания клиники и поехал в дом престарелых. Сыпал мелкий снежок, но было не холодно, еще работали магазины и кафе.

Не знаю, как такое произошло, но в метро я проехал несколько лишних остановок и пришлось возвращаться.

Лия звонила, спрашивала, где я и почему так долго еду.

...Я вошел в палату. Сжал Лию с такой силой, что, думал, она сейчас хрустнет.

...Мы сидели у маминой кровати: Лия с одной стороны, я с другой. Гладили маму по ее полным, еще теплым рукам. А моя жена и папа сидели у мамы в ногах.

Мы болтали с Лией о всяком разном и не могли наговориться. Лия рассказывала о том, что ее дочка беременна, что их ателье недавно купили китайцы.

— Умереть в пятницу вечером, в шаббат, у евреев считается большой привилегией, которая выпадает только праведникам, — задумчиво произнес папа. — Ах!..

\*\*\*

Прошел год.

Папа старался приспособиться к жизни вдовца. Он говорил, что ему трудно выдерживать одиночество. Лия часто приезжала к нему, оставалась у него на ночь, иногда водила его в кафе и рестораны, чтобы поднять ему настроение. Он быстро полностью поседел.

Лия помогала своей дочке, которая недавно родила; часто брала моего сына к себе в гости, покупала нам с женой билеты на ее любимые балетные спектакли.

Словом, всю высвободившуюся энергию и силы Лия направила на всех нас. Будто бы решила, что обязана занять место мамы и заботиться обо всей семье.

## Глава 6

Я работал в клинике, снова стал искать издателя. И удача мне улыбнулась! Одно издательство приняло мой роман, и мы подписали контракт на издание книги, причем на хороших для меня условиях.

Все в семье, разумеется, были счастливы. Сын от радости прыгал до потолка. Папа говорил, что я — гордость нашей семьи и мое место за писательским столом, а не в психиатрической клинике. Папа даже специально заказал себе новые очки, чтобы читать мою будущую книгу.

Лия рассказывала своим подругам и коллегам в ателье о своем талантливом брате, который «скоро станет богатым и знаменитым». А жена объявила, что если я захочу писать новый роман и мне для этого придется ненадолго уйти с работы, она не возражает.

Вот как много значит успех для людей.

## Глава 7

Сосед по дому — заядлый рыбак, пригласил меня на ночную рыбалку. До сих пор я всегда отказывался от его приглашений, но в этот раз согласился.

Вечером мы подъехали к причалу в районе Шипсхед Бей и погрузились на корабль, чтобы отправиться за блу фиш. (Блу фиш — луфарь; океанская хищная рыба.)

Ночной блюз — так рыбаки называют эту ночную рыбалку с корабля.

Мы заняли место на корме, где было относительно просторно, а потому — удобно забрасывать спиннинги. Сосед дал мне свой запасной спиннинг, я же помог ему снести с пирса по трапу огромный пустой пластмассовый ящик для рыбы. Затем он стал готовить снасть.

Тем временем на корабль по трапу спускались все новые рыбаки, среди которых, к моему удивлению, были и женщины — ортодоксальные молодые еврейки в длинных юбках и туго завязанных на голове косынках.

Все готовились к отплытию.

Я жевал сэндвич, поглядывая на женщин на палубе.

Ортодоксальные еврейки на корабле с мужчинами, да еще отправившиеся ловить блу фиш — такого я не мог себе представить! Ортодоксальные еврейки должны дома готовиться к Шаббату, покупать кошерную еду в супермаркетах, должны встречать мужей из синагоги, покупать новые парики и рожать детей. В лучшем случае — рыбу фаршировать.

Но не ездить на корабле на «ночной блюз».

Корабль двинулся в океан. Сосед мне рассказывал о крючках и грузиках. А корабль удалялся от берега, рычал: «Бух-бух-бух!» — и над водой носились крикливые чайки, а вдали золотым огнем горели небоскребы Манхэттена.

Ночной блюз — это не рыбалка. Это бой с рыбой, это война: кто кого — она тебя или ты ее. На палубе мы отрезали куски свежей селедки, наживляли их на большие крючки и забрасывали в воду.

Блу фиш — рыба глупая, блу фиш — рыба сильная. Блу фиш — рыба смелая. И жестокая.

Блу фиш легко и быстро откусывает пальцы, если чьи-то пальцы попадают ей в пасть. Блу фиш клюет сильно и резко.

Ты подсекаешь, и начинается борьба. Тебе трудно, у тебя уже болят руки, ты кричишь, кричишь, чтобы дать выход своему напряжению, своей усталости и своей дикой радости. И когда внизу, в воде, неподалеку от борта корабля, вскипает пена от ударов разгневанной пойманной блу фиш, ты зовешь матроса, чтобы тот готовил длинный гарпун.

Матрос подходит к самому борту, нацеливает гарпун, чтобы вонзить железный острый наконечник в серебристое брюхо рыбы. Удар! В брюхо ей! В спину ей! Иногда рыбу приходится бить сразу двумя гарпунами и тащить ее из воды вверх — два матроса и ты — третий — со спиннингом, трое крепких мужчин тянут вверх одну отчаянную отважную рыбину.

И вот она на палубе, бьется о железный пол, подпрыгивает, путаясь в леске. Теперь матросы тебе не будут помогать, их гарпуны нужны другим рыбакам. Теперь ты сам вынимай крючок из ее пасти — и будь осторожен, не отвлекайся, не смотри по сторонам. Ведь сейчас речь идет о твоих пальцах, одно неловкое движение — и придется жить без указательного пальца или без мизинца, а то и без безымянного, обручальное колечко придется надеть на тупой обрубок.

Лежащую на железном полу рыбу нужно хватать за жабры, на ощупь подобные наждаку, держать ее крепко, так чтобы она не вырвалась, и с помощью плоскогубцев и ножа вынимать из ее пасти крючок.

У тебя от крови мутится в глазах. Кровь от раненных гарпуном рыбин растекается лужами по железному полу на корме. Руки у тебя в

многочисленных мелких порезах. Но снова ты отрезаешь кусок жирной селедки и цепляешь его на крючок...

Сосед крутил катушку, не уставая. Он вытаскивал одну рыбину за другой, бил каждую сапогом по голове, затем, опустившись на колени, хватал ее за жабры и, дико хохоча, начинал выдирать из пасти крючок.

— Fucking good! — обратился он ко мне, закурив. — Вот это настоящее лечение от любой психиатрической болезни! Ты согласен? Не обижайся, но все ваши психотерапевтические методики — дерьмо. Послушай меня: бросай свою работу в клинике. Ты еще не конченный психиатр, как остальные. Ты — рыбак, настоящий рыбак! Присоединяйся ко мне. Будем каждый день ловить рыбу и продавать ее в китайские магазины.

— О'кей, я подумаю, — отвечал я, стирая с мокрых, соленых рук и лица налипшие чешуйки и кусочки морских водорослей. От меня разило рыбой.

Я с любопытством смотрел на евреек в длинных юбках и кроссовках, с завязанными на голове косынками. Смотрел, как они ловили рыбу. Как крепко держали гнущиеся спиннинги и крутили катушки, как ходили вдоль бортов и звали матросов, чтобы те били рыбин гарпунами.

«Откуда у этих худых и на первый взгляд слабых женщин столько сил и столько воли?» — спрашивал я себя. Откуда столько упорства и выносливости? Я устал, у меня болят руки, я чувствую, что завтра утром не смогу встать с кровати, у меня уже сейчас ломит все тело.

А они еще ловят!

Мама, мама... У тебя был свой ночной блюз, который ты исполняла два последних года. Для меня это стало уроком на всю жизнь.

Мой новый роман будет о тебе; думаю о нем и ночью, и днем.

Я видел тебя, мама, на корабле, в длинной юбке, со спиннингом в руках. Ты стояла у самого бортика и крутила катушку. И радостно звала матросов, чтобы те несли гарпуны.

Из какого источника ты черпала силы, чтобы так долго и мужественно бороться с двумя страшными болезнями — раком и деменцией? Не из своей ли неиссякаемой любви ко всем в нашей семье? Не из своего ли умения прощать? Не из своего ли глубочайшего смирения, такого смирения, которого нет у нас?..

Над кораблем пронзительно пищали чайки, ветер эти крики подхватывал и уносил куда-то в Вечную Тишину.

— Ма!... Ма!...